

## «РАЗУМ НЕ РАСПОЛАГАЕТ ЗНАНИЕМ»<sup>1</sup>

Детский взгляд как повествовательный прием в венгерской литературе о Катастрофе (Шоа)

Жужа Хетеньи

(Hetényi Zsuzsa, Budapest)

Тема «Шоа в художественной литературе» в каждую эпоху представляет интерес в аспекте злободневности, актуальности. Воспоминания народов и отдельных личностей важны потому и в той мере, в какой они формируют и определяют их будущее. Я стараюсь понять значение Шоа для Венгрии при помощи литературных фактов и литературоведческого анализа, надеясь найти какие-то общие закономерности, обнаруживающиеся, возможно, и в других литературах. При этом я ставлю перед собой задачу представить литературу маленького народа, которую его совершенно особый язык делает малодоступной для иноязычного читателя.

Кое-кому может показаться, что ход событий в Венгрии нехарактерен для общей истории Шоа, но всякое частное характеризует своей конкретностью общее, типичное, целое. Скажу коротко об истории евреев в Венгрии. После Первой мировой войны Венгерское королевство, бывшая часть Австро-Венгерской монархии, как союзник побежденной Германии потеряла две трети своей территории и больше половины населения: треть венгерского населения оказалась за границей. Следовательно, главным мотивом для вступления Венгрии во Вторую мировую войну было стремление получить обратно «свои» земли. Этот ирредентизм углублялся национализмом, направленным против соседних народов и «внутренних» евреев. Последних обвиняли не только в том, что они буржуи, банкиры, инородцы, разбогатевшие на крови коренного населения (общее обвинение в Европе во время экономического кризиса), но и в большевизме – в 1919 г. в Венгрии была советская власть, продержавшаяся 133 дня. Столь желанные Венгрией территории были получены обратно между 1938 и 1942 годами кстати, вместе с дополнительным количеством евреев.

*Венгерское еврейство было далеко не однородно. Первое массовое поселение евреев в стране относится к концу XVIII века. Следующие поколения присоединились к революционному движению 1848 года за независимость Венгрии (это выражалось в массовой венгеризации-«мадьяризации» фамилий и очень быстрой смене родного языка, в переходе от идиш к венгерскому). Евреи самым*

---

<sup>1</sup> Слова Имре Кертеса. Статья написана на основе доклада, прочитанного мною в Барселонском Университете на курсах «Холокост и ГУЛаг» летнего университета «El Juliols», организованных профессором Р. СанВисенте.

активным образом участвовали в модернизации страны, в переходе ее к капитализму. Вторая волна евреев пришла в Австро-Венгерскую монархию в конце XIX века из России: традиции многонациональной монархии и более либеральные законы создавали намного более благоприятные условия для них, чем погромная и послепогромная атмосфера в России. Эти иммигранты и их сыновья составляли значительный процент ассимилирующихся евреев в начале века. По статистике 1920 г. из общего числа населения около 8-и миллионов было примерно полмиллиона венгров еврейской религии. Но три закона о евреях фашизирующегося правительства (1938–1942) постепенно присоединили к ним тех, у кого только один из дедушек или бабушек был евреем, и даже крещенных евреев. С 1942 был принят закон о желтых звездах на одежде; евреев увольняли с работы, мужчин мобилизовали в т. н. принудительные «рабочие батальоны» и отправляли сначала на украинский фронт, потом в разные рабочие отряды, потом в лагеря. В марте 1944 года Германия оккупировала Венгрию. В апреле венгерские власти начали строить гетто в городах, а в мае и июне (за 56 дней) депортировали практически всех евреев из провинции (т. е. отовсюду, кроме центра Будапешта) в немецкие концентрационные лагеря (ок. 450 тысяч евреев). 200 тысяч будапештских евреев частично стали или жертвой массовых убийств на берегу Дуная – людей расстреливали в середине города, на берегу, а трупы сбрасывались в реку; или погибли в рабочих батальонах на пути в Австрию и Германию; но были и умершие от голода и эпидемий в заминированном гетто в центральном районе Будапешта. Немецкие и венгерские власти уничтожили более 600 тысяч венгерских евреев – из 10 миллионов населения. Среди них одна восьмая часть состояла из выкрестов, в большинстве католиков. Выжило ок. 150 тысяч евреев, почти исключительно – из самых ассимилированных и образованных слоев столичного еврейства (среди них треть крещенных) – в основном жители гетто, которое немцы не успели взорвать. (Курсив мой – Ж. Х.)

Первая волна литературы войны и Катастрофы проявляется в жанрах, граничащих с документальными: автобиография, как, например, *Девять чемоданов* (1946–48) Белы Жолта; дневник, как, например, написанный в русских лагерях для военнопленных *Лагерный народ* (1947) Иштвана Эркена или написанные о рабочих батальонах *Человечий запах* (1945) Эрно Сепы и *Все же не умерли* (1947) Пала Кирайхеди. (Венгерский вариант имен и заглавий см. в сносках.) В это время еще нет нужной исторической дистанции, еще хочется крикнуть всему миру о происходившем и сохранить в памяти ужасы, чтобы нельзя было потом переписать историю. В литературе ужас Шоа невозможно показать через первичную хронику – она, как жанр, принадлежит историографии. Язык (дискурс) художественной литературы требует установления дистанции, остранения предмета, опосредованности рассказчика, не совпадающего с автором.

При анализе литературы о Шоа особенно важно учитывать выше сказанное. Самые сухие отчеты событий о Шоа до сих пор поражают, и ка-

жется, больше и сказать нельзя, мы теряем дар речи, да и слова не имеют уже первоначального значения. А ведь литература состоит из письменной речи, строится из слов. Этот парадокс литературы о Катастрофе заключает в себе еще одну проблему: художественная литература должна ограничивать себя в передаче фактов, иначе говоря – не впадать в документальность.<sup>2</sup> Третьей проблемой является присутствие идейного «груза». Любой, кто станет писать о Шоа, чувствует ответственность и внутренний призыв написать так, чтобы внушить читателю «ужас перед ужасами» и вызвать в нем чувство, что это никогда не должно повториться. Эту неизбежную авторскую идею я называю «грузом» потому, что любая литература с «посылком» (*message*), любое произведение с маркированным агитационным содержанием или с прямой воспитательной целью несет в себе опасность потерять в качестве<sup>3</sup> или выйти за пределы художественной литературы (ср. дневники, мемуары).

Большое достоинство этих произведений состоит в том, что они писались, во-первых, еще до опыта официальной лжи последующих 40 лет (1948–1988), о которой речь пойдет ниже, и, во-вторых, еще до того, как появилась т. н. «культура Холокоста», в которой постепенно исчезает характерный для этого раннего периода элемент гротеска и иронии, сосуществуют трагизм и комизм. Для иллюстрации этой первичной конкретности и иронии приведу примеры из романа *Девять чемоданов*<sup>4</sup> Белы Жолта. Он последовательно показывает, как евреи стали жертвами гражданско-буржуазного воспитания, своей наивности и покорности. Они уважали законы и полицейских, одетых в мундир. *Мы стояли в очереди как пингвины, нас вели в вагоны на поводке уважения к закону.*<sup>5</sup> Евреи (вынужденные учиться за границей из-за процентной нормы в университетах), верили в европейскую, особенно в немецкую культуру, и после возвращения в Венгriu хотели стать законопослушными, порядочными гражданами Венгрии – лучше, чем самые венгры. Эти ассимилированные евреи считали себя «венграми», а верующие евреи внушали им страх. Жолт с ужасом признается, что жандарм ближе ему и его миру, чем одетый в традиционный лапсердак еврей с пейсиками, который представляется ему неким *экзотическим филиппинцем*.<sup>6</sup> А когда один добрый полицейский отводит глаза и говорит: бегите! – все остаются на ме-

<sup>2</sup> См. лже-документальную повесть Д. Альбахари. *Восстание в нацистском лагере в Штутльене*. М., 1975.

<sup>3</sup> См. *Очную ставку* Йожефа Лендела (посмертное издание 1988) – роман, действие которого происходит в Москве в конце 1940-х гг. и показывает диалог друзей-коммунистов, один из которых прошел через немецкие лагеря, а другой – через советский ГУЛАг. // Lengyel J. *Szembesítés*. Вр., 1988. (Й. Лендел. *Очная ставка*.)

<sup>4</sup> Zsolt B. *Kilenc koffer*. Вр., 1946–1948. (Б. Жолт. *Девять чемоданов*.)

<sup>5</sup> Там же. 29.

<sup>6</sup> Там же. 60.

стах, единственный, кто убежал, бегом же возвращается через час. Причины две: тупое уважение к закону и страх, что некуда идти. Тогда полицейский останавливает цыганскую телегу и отправляет одного мальчика с цыганским табором через границу. Только цыгане, последние из последних согласились помочь, и то по указке жандарма.

Нечто аналогичное происходит на украинском фронте. Партизаны, освободив в бою еврейских рабов, дают им оружие, хотят принять их в отряд. Евреи же говорят, что устали, воевать не хотят и возвращаются даже не в свои венгерские, а в немецкие части. Оттуда их дорога ведет в смерть.

*Невиданная в цивилизации сцена: белых людей с паспортом и адресом, в европейской одежде вталкивают в вагоны, набивают ими до отказа, и везут их в края, где тоже живут белые люди, и где недавно машины скорой помощи подбирали людей, попавших под трамвай, и правительство награждало медалью того, кто спас тонущего в Висле бродягу. Словом, в Европе, где через каждые сто метров дорожные знаки Международного Клуба Автомобилистов предупреждают об опасных поворотах и переездах, ведущих через железнодорожные пути...*<sup>7</sup>

Жолт опубликовал автобиографический роман о гетто в Надьвараде (ныне Румыния, Oradea) в своем журнале *Прогресс* в 1946–47 годы. Роман остался неоконченным, Жолт умер в 1949 году.

Вторая волна литературы о Шоа появляется после революции 1956 года, точнее в годы, когда репрессии смягчаются и начинает складываться т. н. «лучший барак социалистического лагеря». Венгрия называлась так потому, что экономика и уровень жизни безусловно стояли выше, чем в других соцстранах, и партийное руководство – во избежание новых восстаний – делало значительные, но не постоянные (для внушения страха и чувства нестабильности) уступки в культурной жизни. Здесь хочется упомянуть уникальную в то время по жанру музыкальную пьесу с песнями в стиле французского шансона<sup>8</sup> о жизни известного поэта Миклоша Радноти, выкреста по убеждению, но убитого как еврея в 1944 году. В пьесе говорилось о жестокости войны с трагической иронией, о разрушенных судьбах – с трогательным лиризмом, о неизбежности вторжения истории в личную жизнь – с сарказмом, но в ней ни разу не произносилось слово «еврей» (об этом замалчивании см. ниже).

В 1958 увидел свет первый роман о Шоа, *Elysium*<sup>9</sup> Имре Кеси – по-смертно. Роман параллельно рассказывает о судьбе арестованного мальчика, его пути в лагерь и в смерть, и о стараниях родителей найти и спасти его. Показаны голод и смерть в подвалах в период бомбардировки Будапешта, появление первого русского солдата. Характерно, что уже в первом настоящем

<sup>7</sup> Там же. 109–110.

<sup>8</sup> Hubay M. – Vas I. – Ránki Gy. *Egy szerelem három éjszakája*. Вр., 1960. (М. Хубай – И. Ваш – Д. Ранки. *Три ночи одной любви...*)

<sup>9</sup> Keszi I. *Elysium*. Вр., 1958. (И. Кеси. *Элизум*.)

романе на тему Шоа ставится в центр детский персонаж. Использование детского взгляда в наррации позволяет избежать всех трех ловушек, указанных выше. Прежде всего, выбор детского рассказчика *ab ovo* помогает избежать документальности, вторжения фактографии. Во-вторых, в ситуации, когда все должны молчать, когда все онемели, когда трудно найти слова, ребенок единственный вправе говорить и может говорить. В этом заключается и общеизвестный разоблачительный эффект «сказки о голом короле», и обычная роль в литературе ребенка, который, еще не зная условностей и предрассудков, высказывает правду или суть дела. В-третьих, детский персонаж как нельзя лучше (хотя и косвенно, но ярко и эмоционально) дает осознать, что речь идет о невинных жертвах.

В сюжетной линии судьбы мальчика преобладают его монологи, иногда переходящие во всезнающее авторское повествование от третьего лица, но и тогда с элементами детского взгляда. Эта монологичная форма сама по себе передает одиночество, в отличие от диалогического повествования, в котором представлена другая сюжетная линия (жизнь семьи в Будапеште). В монологах можно разделить три нарративных приема для передачи восприятия мира ребенком.

Первое: типичные детские мысли и ситуации, трагизм которых в том, что все вокруг как раз не типично, а вывернуто наизнанку. *Здесь совсем неплохо было бы, если только папа с мамой были здесь*<sup>10</sup> – говорит сначала себе мальчик. В этом типичном, даже стереотипичном детском суждении скрывается парадокс: ребенок скучает по родителям, как все дети всех времен, а читатель должен понять: как хорошо, что хотя бы родители на свободе.

Мальчик размышляет по пути на вокзал: *Как хорошо было бы сейчас быть дома, но раз нельзя, путешествовать тоже интересно*.<sup>11</sup> Слова «путешествовать» и «интересно» потеряли «нормальный» смысл, в котором их употребляет мальчик.

Перед самым концом войны, когда немцы должны ликвидировать лагерь, где дети подвергались медицинским экспериментам, собирают детей, и они весело, под общее пение уходят в газовые камеры.

*Когда сказали, что утром нам нужно отсюда уйти, потому что здесь будет война, дети кричали «ура», поднимали руки к небу, потому что как бы ни было здесь нам хорошо, отправиться дальше всегда интересно*.<sup>12</sup>

Здесь слова «хорошо» и опять «интересно» трагически не на месте.

Мальчик мечтает о том, о чем он мог бы поговорить с молодой женщиной, которая взяла его за руку в первый день, но потом исчезла.

<sup>10</sup> Там же. 121.

<sup>11</sup> Там же. 167.

<sup>12</sup> Там же. 441.

*Мы бы разговаривали. «А кем ты будешь, когда подрастешь?» – спросила бы она, потому что взрослые всегда задают этот вопрос. А ведь вопрос глупый, человек не может знать. Маленькие дети хотят стать кондуктором на трамвае, солдатом, летчиком или учителем, чтобы они сидели перед классом и могли приказывать детям. А я достаточно большой, чтобы знать, что не могу знать, кем я стану. Может быть композитором, или ученым, как папа, а может быть электротехником или детским врачом, который спасает жизнь людей. И я бы ответил: «Не знаю, может быть, детским врачом.» «Это прекрасно – сказала бы она. – Врач спасает жизнь людей.» «Только вот проблема, могу ли я стать врачом. Ведь меня убьют.» И тогда она грустила бы, потому что вспомнила бы, что ее тоже убьют.<sup>13</sup>*

Воображаемый диалог в детском монологе усиливает, удваивает эффект одиночества.

Противоестественность событий и эпохи отражена в бессмысленности и невозможности самых типичных жизненных ситуаций и тем. Но здесь же – это второй нарративный прием: детская прямота – мальчик произносит то, о чем вся Европа не позволяла себе думать. Он говорит: меня убьют, не чувствуя запрета, наложенного суеверием. Это не время «спасать жизнь», а время терять свою.

Психологически достоверно передается и стремление десятилетнего ребенка мыслить по-взрослому, подражая логике взрослых (прием, который станет основным в романе Имре Кертеса *Обездоленность*, романа, за который его автор получил Нобелевскую премию в 2002 году<sup>14</sup>). Но ребенок мыслит аналогиями:

*Люди ходят туда-сюда как львы в клетке. Нет, скорее как белые медведи, они мотают головой то направо, то налево, кивают, как сумашедшие [...] Значит тогда я сейчас тоже живу в рабстве?<sup>15</sup>*

В лагере, где собирают евреев перед их отправкой в Германию, мальчику грезится – горький парадокс автора – летняя поездка в поезде на Балатон. Ему представляется голубое озеро в окнах поезда.

*Озеро голубое, потому что отражает небо, иначе не было бы голубым, и небо тоже не голубое по-настоящему, это только так кажется. И тучи не висят на небе, только там плавают. Вещи вовсе не такие, какими их видит человек.<sup>16</sup>*

Философский тезис о мнимости мира, доступный ребенку на уровне его знаний о природе, не переносится им на общество, на мир людей. Это делается читателем. Психологический процесс чтения текста с детским рассказчиком предполагает интеллектуальную работу, при которой читатель, стараясь оторваться от своих эмоций, ищет намерения автора.

<sup>13</sup> Там же. 127.

<sup>14</sup> И. Кертес. *Обездоленность*. Роман вышел по-русски в «Иерусалимском Журнале». 2003. № 14–15. и 2004. № 18. Перевод Ш. Маркиша и Ж. Хетени. См. еще на сайте журнала: [www.antho.net/jr](http://www.antho.net/jr).

<sup>15</sup> Keszi I. 121.

<sup>16</sup> Там же. 124.

Наивность детского рассказчика, его взгляда может вызвать и прямое читательское несогласие, протест. Вот мысли мальчика в лагере:

*Он чувствовал себя дома. Лес был такой, словно он жил здесь всегда. Вода в озере была создана для него, для его тихого, долгого плавания в надежде. Никогда трава не была такой мягкой и близкой. Никогда он так вкусно не ел. Никогда-никогда! Он был полон благодарности. Он хочет жить здесь, на берегу лесного озера, в лагере Элизиум. Он хочет получить все щедроты, которые здесь получают избранные счастливицы, когда заслужит их своей храбростью. Он заслужит и будет здесь жить в белой одежде, как спасенные блаженные души, с номером на шапке, с желтым треугольником на груди, в форме бессмертных солдат доброты, чистосердечия и храбрости, во веки веков.<sup>17</sup>*

Из этого парадокса вырастает шокирующий вывод героя в романе *Обездоленность*, о котором еще пойдет речь ниже. (Из слов-элементов «Лес» и «озеро» пейзажа состоит топоним *Waldsee*, где находится детский лагерь – этот топоним повторится у Имре Кертеса, у которого прямые аллюзии на роман Имре Кеси.)

В этих последних цитатах очень важен образ озера, который составляет главный лейтмотив в метафорическом мышлении ребенка. В своеобразном детском мышлении, которое строится на образно-ассоциативных рядах, скрывается возможность создать метафоричный слой в языке произведения и показать мир в неожиданном ракурсе, через особое видение, обнаруживающее сокровенные и новые истины. Самый естественный для передачи внутреннего мира прием – поток сознания с описаниями снов, воспоминаний, всплывающих картин и образов, связанных ассоциативно. Мотив озера расширяется в начале 2-й части в бреду мальчика. Ему представляется, что зебры привезли его на поезде в Сахару, а скорее в потусторонний мир, и все прошлое ушло под воду. Все знакомые и родственники искривлены в воде озера. *Но может быть, это они снаружи, а я внутри. Кто умер, попадает под воду.*<sup>18</sup> (Зебры, по всей видимости, – заключенные в полосатой одежде.) Когда мальчик приходит в себя, ему мешает постоянный дым, дым из крематориев в соседнем лагере, который немцы называют для детей Тартаром. Их же детский лагерь – Элизиум (Елисейские поля), или рай в представлении ребенка.<sup>19</sup> Но оба мира – за пределами жизни, и адский дым пропитывает райскую половину тоже. В дальнейшем воспоминания всплывают из озера.

Образ озера расширяется и становится богатым ассоциациями мотивом. Душевнобольная тетка мальчика в Будапеште вдруг телепатически чувствует, что мальчика сожгли. Она пишет ему письмо, и, чтобы послать письмо вверх, в небо, сжигает письмо, обращая его в пепел и дым. Она пишет: *Туча на небе – это ты плаваешь там, туча похожа на мальчика в большом,*

<sup>17</sup> Там же. 298.

<sup>18</sup> Там же. 264.

<sup>19</sup> Там же. 468.

голубом, круглом озере.<sup>20</sup> Озеро превращается в зеркало, которое разделяет прошлое и настоящее, жизнь и смерть, реальное и мнимое. Таким образом присутствие детского взгляда открывает возможность непрямого, опосредованного изображения. Нужно еще упомянуть самую очевидную художественную функцию детского персонажа: он обостряет эмоциональность восприятия произведения, оправдывая даже некоторую сентиментальность, и делает это так, что катартическое воздействие может не смешиваться с прямым намерением автора.

Третий период литературы о Катастрофе начинается с романа Имре Кертеса *Обездоленность* (1975).<sup>21</sup> Новизна романа Кертеса – в повествовании. Писатель сам прошел подобный путь в таком же возрасте, и роман ведется от первого лица, однако, это самый настоящий объективный роман в том же смысле, в каком мы говорим об объективной лирике. Действие происходит во внутреннем мире мальчика, и хотя роман показывает весь набор ужасов Шоа, самое ужасное – видеть разрушение человеческой души. Это – своеобразный роман воспитания, мы наблюдаем за тем, как меняется рассказчик. Чистота ребенка позволяет показать его как *tabula rasa*, как лакмусовую бумажку. Странность повествования в том, что молодой герой наблюдает за явлениями и событиями с позиции почти постороннего наблюдателя – он таким взглядом наблюдает и за вшами на своем теле, стараясь их понять так же, как и немецких солдат. Посторонний взгляд его сохраняется и при описании тех редких случаев, когда он проявляет эмоции – но сразу за этим появляется снисходительная усмешка над самим собой. Писатель шокирует своих читателей тем, что, особенно в начале, его рассказчик пользуется холодно-изысканным языком школьных сочинений, с присущими такого рода сочинениям ошибками и косноязычием фальшивых, пустых оборотов. (Нужно отметить в скобках, что эти «ошибки» представляют для переводчика особую трудность.) Язык мальчика косвенно, почти как в сказе у таких писателей как Бабель или Платонов, разоблачают, ту Венгрию тридцатых годов, тот мир лицемерия в котором этот мальчик вырос, и одновременно и те тоталитарные 50-е–60-е годы, которые внушили автору то же раздвоение сознания, что и довоенный фашизм в своем «мягком» варианте режима Хорти.

Подросток старается вести себя по-взрослому. Мальчик старается все понять, ключевые слова романа: я понял, я признал. Даже теряя человеческий облик, превратившись в вонючий кусок мяса, он сохраняет взгляд на себя со стороны. Кертес провоцирует читателя мнением ребенка, которое

<sup>20</sup> Там же. 354.

<sup>21</sup> Kertész I. *Sorstalanság*. Bp., 1975. См. Ж. Хетени. *Ordo ab chao. Имре Кертес и его роман «Обездоленность»* // *A szó élete. Tanulmányok a hatvanéves Kovács Árpád tiszteletére*. Bp., 2004. 249–254.



строится на основе терпимости, понимания другого человека: так его, очевидно, учили родители и школа. На самом же деле он ничего не понимает, наоборот, заблуждается, и не должен понимать, (тем более признавать ничего), из того что происходит вокруг и с ним. Но поведение ассимилированных евреев, послушных граждан среднеевропейских государств, которые они считали своей родиной, было именно таким. Дать и даже уступить место другим, не мешать, не выделяться, не бунтовать. Он считает себя честным потому, что не бежит с другими. Слова потеряли свое значение. Кертес выстраивает детскую логику своего героя из тех же элементов, что Имре Кеси в *Элизиуме*. Подросток считает, что путешествовать интересно, и добровольно записывается в венгерском лагере на работу в Германию. С присутствием его семье и вообще среднему классу отвлеченным уважением к немецкой культуре и порядку, мальчик любит спокойствием немецких солдат, их точной, благодушной без заминки работой. Он рад, что он – как ему кажется – понравился немцу, отбирающему людей: кого на работу, кого прямо в крематорий. Ему нравится сама местность, домики с футбольным полем, все очень чисто, *опрятно и красиво – в самом деле; приходилось согласиться*; и так постепенно доходим до ошеломляющего признания: *могу сказать, я и сам быстро полюбил Бухенвальд*.

В вагоне происходит внутренняя перемена, начинающаяся мирным и легким чувством безразличия, вместо раздражения от прижатых друг к другу тел – чувством внутренней близости, родства. *Впервые после долгого времени я избавился, наконец, и от мук раздражительности: тела, прижатые к моему, больше не мешали, скорее я как-то даже радовался тому, что они здесь, что они со мной, что они такие родственные и такие похожие на мое, и тут впервые мною овладело какое-то непривычное, противоестественное, какое-то неловкое, я бы сказал, нескладное чувство к ним – может быть, любовь, пожалуй, я думаю*. Лежа на платформе среди трупов, он смотрит в небо, где тучи разходятся на миг, и кажется, что по нему пробегает луч света, как быстрый, испытующий светлый взгляд оттуда: *в этот миг на меня упал сверху какой-то луч, быстрый, испытующий взгляд, открылся неопределимого цвета, но в любом случае, вне всякого сомнения светлый глаз*.

Кажется, что этот божественный взгляд есть следствие появления в мальчике любви к людям, и причина появления желания жить. Возвышенное и праздничное настроение подкрепляется тем, что звон ложек сравнивается со звоном колоколов. Предвкушение еды, как бы материально приглашающей жить дальше, вызывает слезы и второй парадокс: *хотелось бы еще немножко пожить в этом славном концентрационном лагере*. Этот процесс возвращения в жизнь поразительным образом напоминает общеизвестную в русской литературе сцену из *Войны и мира* Льва Толстого, где разочарован-

ный князь Андрей на поле бородинской битвы – и перед смертью – исполняется любовью к жизни и к людям. Отчасти и поэтому можно сказать, что роман Кертеса не только роман о Шoa – под концлагерем здесь подразумевается жизнь вообще. Небесный взгляд и звон колоколов являются введением к тому ряду чудес, которые творят не небеса, а люди, помогающие мальчику выжить, вопреки логике и разуму. Вместо «я понял, я признал» мы читаем:

*Надо признаться: есть вещи, которых я никогда не сумел бы объяснить, не сумел бы в точности, нет, откуда ни взгляни, со стороны ли моих ожиданий, правил, разума-словом, со стороны жизни, порядка вещей, насколько я уже с ними знаком, по крайней мере.*

Последняя глава романа показывает прежде всего последствия Шoa. Внутреннее развитие подростка, переходящего на глазах у читателя из детства во «взрослость», если не в старчество или безвозрастность, внушает мысль о негативной инициации человечества, вступившего в новую эпоху после Катастрофы. Лагерь – аллегория экстремальной ситуации, жизни вообще, экзистенциальный роман. На горе смертельная болезнь разит своих жертв случайно (скажем, свыше определенно случайно), а здесь работает машина смерти, устроенные руками людей заводы массового уничтожения. Ключевые слова: машины и масса.

И начинаем думать. И здесь мы снова оказываемся в ловушке. Парадоксальным образом выходит, что концентрационные лагеря стоят в конце линейного развития идеи о совершенном и рационально организованном человеческом обществе, столь прекрасно задуманном французской революцией, и является одновременно тупиком европейской цивилизации, общества неспособных возлюбить друг друга ближних. Разум и любовь построили лагеря и тюрьмы? Можно ли в таком случае надеяться на тот взгляд сверху, на луч света между облаками, на иррациональную помощь человека? В поэтике случайностей, в иррациональной любви Кертес показывает невидимую сущность мира, порядок хаоса.

*Тема Шoa выступает в целом ряде произведений более поздних писателей, пытающихся изобразить неопределенное место еврейства в венгерском обществе после войны. Они ищут свое место, свою принадлежность, стараются определить свое отношение к еврейству. Снова несколько слов об истории.*

Значительная часть выживших евреев после войны эмигрировала. Большинство тех, кто остался, принимали советские войска не просто как освободителей, но как спасителей, которым они обязаны жизнью. Новый режим, установившийся после фальсифицированных коммунистами выборов (1948), открывал новые возможности для евреев. Нужны были люди «с образованием» и «с чистой биографией»: не скомпрометировавшие себя ни до, ни во время войны. Евреи могли занимать посты, которые раньше были для них закрыты. Новый режим проповедовал равенство, осуждал национализм и антисемитизм, но требовал взамен полной самоидентификации с идеологией и практикой ком-

мунизма. Мелкобуржуазный образ жизни, остатки еврейских традиций (не говоря уж о религии) должны были уйти в прошлое, принесены в жертву новой принадлежности к обществу коммунистов. Вопрос о происхождении больше не задавался. Венгерское общество это условие приняло в той мере, в какой оно освобождало заодно и от ответственности за антиеврейские законы и за активное участие венгров в депортации евреев. Вытеснение темы, ее замалчивание, казалось, способствует незаконченному еще процессу ассимиляции. Поддерживалась иллюзия о бесклассовом обществе как об обществе без дискриминации. Вдобавок, табуизация еврейской темы служила интересам власти, которая надеялась рассеять старый предрассудок, будто коммунизм означает приход к власти евреев. Эти невысказанные доводы и мысли дошли до второго поколения, детей тех, кто пережил Шоа, в своеобразном и неясном конгломерате общественного самочувствия.

С одной стороны, в Венгрии, как и всюду, появилась известная<sup>22</sup> психологическая реакция на Шоа – энкапсуляция, т. е. захоронение проблемы внутри психики, и ограничивание, изоляция от нее, ради сохранения здорового «я». Здесь табу психологическое, «непереваренная» травма опасна для того, кто себе наложил табу. Это табу удваивается из-за общественного табу, о котором говорилось выше. Слово «еврей» стало невозможно произносить. Женщина, родившаяся в 1946 году, сообщает: «Слово еврей не произносилось ни относительно нас, ни о других. Я не понимала, о чем говорят родители, когда слышала такие странные выражения, как *unsereiner*, *nostras*, *индеец* [...] такие нелепости».<sup>23</sup> Для второго поколения табу становится страшной тайной, полужающей, ввиду отсутствия информации, невероятные объяснения.

Эта ситуация передаваема только при помощи введения детского рассказчика. Он единственный имеет возможность нарушать табу – он неведающий, он без предрассудков; у него разоблачающая, прямая логика причин и следствий, он упрямо спрашивает и добивается ответов. Кроме того, в его речи могут фигурировать не рефлексированные (интеллектуально не замаскированные) прямые высказывания.

Дети стараются осмыслить и понять катастрофу, табуизированной для них отцами и матерями, живущими под тенью сталинизма (ГУЛага) и в условиях «двоемыслия» (см. оруэлловский *"double think"*). Эта группа книг показывает, какие психологические проблемы создала катастрофа в последующих поколениях на много десятилетий вперед. (Курсив мой – Ж. Х.)

Петер Надаш в романе *Конец одного семейного романа* (1977), передает поток сознания травмированного ребенка, который воспитывается у де-

<sup>22</sup> B. Bettelheim. *Surviving the Holocaust*. 1986.

<sup>23</sup> Pető K. „Engem az antiszemitizmus sodort a zsidók közé...” (Az identitástudat változásai) // Zsidóság, identitástudat, történelem. Bp., 1992. 134; Szilágyi J. – Cserne I. – Pető K. and Szőke Gy. *The Second and the Third Generation: Holocaust Survivors and Their Descendants* // R. R. Braham (Ed.). *Studies on the Holocaust in Hungary*. New York, 1990, 238–255.

душки и бабушки в 50-ые годы, во время показательного процесса Ласло Райка, в котором его отец, агент тайной полиции (КГБ) принимает активное участие. Детское сознание рассказывает без переходов обо всем пережитом. Цепь свободных ассоциаций оправдается тем, что ребенок перенес главную травму, он упал с верхней койки на каменный пол в детдоме, где он оказался – в конце романа – после смерти всех родных, вместе с другими детьми «изменников родины». Редкие ночные появления отца связаны с его спорами с бабушкой, который, пройдя концлагерь, создал странную философию жизни. Эта философия основана на шести тысячах лет условной истории семьи, начиная с Симеона, сына Иакова и Лии. Надаш рассказывает, в форме мифа, о вечном страдании еврейства, о семи эпохах страданий, из которых выводится девиз деда: «умирайте, чтобы спастись». Седьмая эпоха еврейства – круг гибели – должна убить миф еврейства и соединить два потока, разделившихся 2000 лет назад, то есть соединить иудаизм с христианством. Это – один из возможных ответов еврейства на Катастрофу, кстати, о подобном «решении» говорит и Пастернак в *Докторе Живаго*.

*Ипессня звучит* (1983)<sup>24</sup> Миклоша Вамоша (в названии имитируются-пародируются сливающиеся слова пионерской песни) описывает следующую травму в истории Венгрии – 1956-й год, неудавшуюся революцию, которая началась требованием выхода советских войск и истинного социализма вместо партократии, а потом развивалась в сторону гражданской войны и была жестоко подавлена русскими войсками и новым поколением в партийном руководстве. Герой Вамоша – наивный наблюдатель идеологического хаоса. Родители записывают крещеного мальчика на нелегальные уроки [...] катехизма. Через детский монолог передается типичная по свидетельству психологов ситуация: мальчику становится ясно, что он еврей только когда в школе издеваются над ним и когда еврейские мальчики начинают с ним дружить. После признания родителей о происхождении первая реакция – бунт: *Почему вы раньше не сказали? Не хочу быть евреем!*<sup>25</sup> Потом мальчик начинает драться с теми, кто над ним издевается, и, торжествуя, присоединяется к еврейскому товарищу с открытием, что бабушка и дедушка школьного товарища тоже погибли в Освенциме.<sup>26</sup> Здесь в миниатюре – вся история поведения венгерского еврейства после Шоа. Страх перед новыми гонениями вызвал стремление к самоликвидации еврейства: детей крестили, скрывали от них их происхождение, слово «еврей» не произносилось. Эта самоцензура поддерживалась общей атмосферой, в которой говорить о еврейских делах означало различать евреев и неевреев, а это считалось преступле-

<sup>24</sup> Vámos M. Zenga zének. Bp., 1983. (М. Вамош. *Ипессня звучит*.)

<sup>25</sup> Там же. 193.

<sup>26</sup> Там же. 190–206.

нием против коммунистической догмы «равенства», следовательно: тот, кто произносит слово «еврей», антисемит. Этот парадокс похож на негативную магию древних народов: то, о чем не говорится, не существует.<sup>27</sup>

Религия и традиции забывались или сохранялись / соблюдались тайно, в поколениях дедов. Как пишет Михай Корниш от имени своего рассказчика-ребенка в романе *Книга-солнце – герой нашей истории* (1994)<sup>28</sup> в первой главе *Кладбище*:

*Потому что я не был еврей, только мои родители были евреями. Меня не обрезали, ха-ха, и меня не видел раввин, не дали мне еврейского имени, не записали в книгу общины, у меня нет религии, так сказали родители, особенно после 56-го года они повторяли это без конца, если спросят, ты неверующий...<sup>29</sup>*

В главе описано посещение кладбища, вернее т. н. стены смерти, поставленной в память всех жертв Катастрофы на самом большом будапештском еврейском кладбище.

*Я смотрю на уцелевших, как нужно себя вести по еврейскому обычаю, я ведь видел дурацкие штуки у бабушки, у евреев страшно замысловатые обязанности, точнее они были у иудеев, а кто они такие? Хорошо, что это уже прекратилось и запрещено, иначе вся семья была бы занята круглые сутки, как бабушка за занавеской.<sup>30</sup>*

Малыш смотрит на евреев беспристрастным, внешним взглядом. Мы встречаем такие выражения, как *хилый птичий народ с длинными шеями, еврейские журавли*,<sup>31</sup> *о мы бедные отворотительные все*,<sup>32</sup> *жиды*.<sup>33</sup> Это детское самоненавистничество создает резкий контраст со вторым посещением кладбища уже взрослым писателем, который находит наиболее подходящий способ траурного поведения: он списывает имена еврейских жертв все подряд, и «восстанавливает» их облик в своем воображении. Раздвоенность главного героя подчеркнута и тем, что в рамках одного абзаца и даже одного предложения автор смешивает повествование от первого и третьего лица.

Каким-то тайным образом второе после Шоа поколение унаследовало страх перед гонениями, не понимая при этом, что такое «еврей». Страх усиливался антисемитизмом. Молчание о Шоа сыграло в жизни детей роль, обратную намерениям отцов: табу, как общая тайна, сплотила детей, подростков, молодых людей, создала замкнутые дружеские кружки евреев, ко-

<sup>27</sup> Karády V. *A Shoa, a rendszerváltás és a zsidó azonosságtudat válsága Magyarországon* // R. R. Braham (Ed.). *Studies on the Holocaust in Hungary*. New York, 1990; Karády V. – Kemeny I. *Les juifs dans la structure des classes en Hongrie: essai sur les antécédents historiques des crises d'antisémitisme du XXe siècle* // Actes de la recherche en sciences sociales. Paris, Juin 1978, № 22. 37.

<sup>28</sup> Kornis M. *Napkönyv*. Вр., 1994. (М. Корниш. *Книга-солнце*.)

<sup>29</sup> Там же. 11.

<sup>30</sup> Там же. 13.

<sup>31</sup> Там же. 12.

<sup>32</sup> Там же. 13.

<sup>33</sup> Там же. 14.

торые в большинстве случаев даже не понимали (или поняли намного позже), по каким критериям они сблизилась. Неопределенное чувство евреев второго поколения – чувство «отличия», «инаковости» есть следствие Шoa, и, за неимением других конкретных знаний о еврействе, это чувство создает сознание общности, психологическое сознание «мы». Эти дети, отчасти, действительно удаленные от еврейства настолько, что не знали, что значит само слово «еврей», были лишены и сознания преемственности (continuity) семейных традиций. Поэтому новую волну еврейского сознания (с 80-х годов), в возникновении которой Шoa стала главным элементом еврейской принадлежности (identity), можно считать в какой-то мере беспочвенной. Здесь опять-таки важна не сама Шoa, а ее последствия: табу, неясности, вражда, страх выживших перед тайным антисемитизмом.

Мне кажется, что при всех конкретных и исторически обусловленных различиях, литература Шoa разных стран имеет общие признаки. Сошлюсь на один пример, на роман Жоржа Перека *W или воспоминание о детстве* (1975).<sup>34</sup> Совпадения доходят даже до таких сюжетных деталей, как посещение молодым человеком кладбища (ср. у Корниша) или увлечение мальчика католицизмом (ср. у Вамоша). Перек потерял обоих родителей на войне и одна сюжетная линия посвящена собиранию детских воспоминаний о них, и коррекции уже взрослым сознанием этих осколков памяти согласно реальным событиям. Мальчик не осознает своего происхождения, но уверен, что отличается от других, ищет свое *отличительное фабричное клеймо*.<sup>35</sup>

Еще полнее и выразительнее Шoa отражается в другой сюжетной линии, которая на первый взгляд не имеет никакого отношения к Шoa. Это – первый роман писателя, написанный им в 13 лет, *о жизни общества, которое занимается исключительно спортом на острове близ Огненной Земли*.<sup>36</sup> Повествование, начатое детским увлеченным рассказом о спортивных играх, кончается словами: *...в крепости высились кучи золотых зубов, обручальных колец, очков, горы сваленной одежды, пыльные пакки и куски мыла плохого качества*.<sup>37</sup>

Как мы видим, детский взгляд интересен не только в литературе о Шoa в узком смысле, но и там, где Шoa – вовсе не только историческое событие в прошлом. С одной стороны литература о Шoa пишется и сегодня и будет писаться и завтра, с другой стороны, книги о Катастрофе говорят о нашей сегодняшней жизни.

<sup>34</sup> G. Peres. *W ou le souvenir d'enfance*. Paris, 1975. (Ж. Перек. W или воспоминание детства.)

<sup>35</sup> Там же. 109.

<sup>36</sup> Там же. 15.

<sup>37</sup> Там же. 161.